

Меня воспитывал арбатский двор...

Беседа с Михаилом Поздняевым. Семья. № 18. 1988 г.

Упрямо я твержу
с давнишних пор:
меня воспитывал
арбатский двор,
все в нем от подлого до золотого.
А если иногда я кружева
накручиваю на свои слова,
так это от любви.
Что в том дурного?..

— Кстати, как родился этот неологизм — «арбатство»?

— Придумал это слово не я. Авторство принадлежит учащимся одной из старых московских школ. В стихах, мне подаренных, была строка: «Кануть сладко в пучине бескорыстия и песен арбатства...». Это придуманное ребятами «арбатство» не только в данном стихотворении, но вообще как-то удивительно рифмуется со словом «братство». Арбатство — это определение очень важного для меня качества. Это моя натура, моя психология, мое отношение к окружающим. Это воспитание и почва...

— Простите, Булат Шалвович, мне хотелось бы здесь привести еще несколько строк из стихотворения «Арбатское вдохновение, или Воспоминания о детстве».

Тут, мне кажется, прозвучит не просто слово, только что вами произнесенное, — «почва», но прозвучит вопрос, главный в нашем сегодняшнем разговоре...

...На фоне непросохшего белья
руины человеческого жилья,
крутые плечи дворника Алима...
В Дорогомилово из тьмы Кремля,
усы прокуренные шевеля,
мой соплеменник пролетает мимо.
Он маленький, невытый и рябой
и выглядит растерянным и пьющим,
но суть его — пространство и разбой
в кровавой драке прошлого с грядущим.
Его клеветы топчутся в крови...
Вы спросите с сомненьем, вам присущим...

— Да, где же почва... Трудная задача. Я на Арбате с первых дней, как родился, и прожил там 17 лет. Отец мой был командирован в 1922 году с Кавказа в Москву учиться в Институте красной профессуры. И он и моя мама вступили в партию еще до революции. Как студенту и партийцу отцу дали две маленькие комнаты в коммуналке на Арбате. С нами жила еще бабушка — мамина мама, а спустя десять лет после моего рождения появился мой младший брат — вот такая семья.

Я действительно всю жизнь воспевал эту улицу, этот двор, этот дом. Мой дом выходил фасадом на Арбат, это № 43, внизу шашлычная, прежде это был ресторанчик, напротив — зоомагазин, а чуть левее — дом № 44, где тогда жил удивительный человек, поэт Николай Глазков. Но мы с ним, конечно, тогда знакомы не были — я был школьник, а он уже студент и популярный среди пишущей молодежи автор. Я начал писать стихи годы спустя после войны...

Наш двор — это пространство, замкнутое несколькими разными домами, а по бокам — двухэтажными флигелями главного здания, моего дома. В годы моего детства там была частная сапожная мастерская чеха Ятнека, «Шляпы» мастера Усса; жили здесь слесари, плотники, конторские служащие, обычная публика старой Москвы. Несколько старух-гувернанток или нянек, оставшихся доживать тут свой век, после того как хозяева уехали во Францию... Татарин дворник Алим — фигура весьма колоритная, как вообще все дворники в те годы. Но он вдвойне замечателен: он был татарский князь, и к нему на совет ехали татары со всей Москвы и из-за города. Когда «Арбатское вдохновение» было напечатано в этом году в «Дружбе народов», я получил письмо от внука Алима, и он мне поведал о конце своего деда: он был арестован в 38-м, прошел тяжкий крестный путь по сибирским лагерям, всего этого с лихвой попробовал...

Году в тридцать шестом над нашим домом надстроили еще два этажа, и в них с шумом и весельем поселились работники наркомата мясной и молочной промышленности. Они получили отдельные квартиры, а все, буквально все, жили в коммуналках; у нас, к примеру, в бывшей квартире фабриканта Каминского — четыре семьи, и это было роскошью... И вот справили эти работники новоселья, отплясали, отшумели — и по ночам их стали арестовывать.

Эту чашу многие вкусили. Отца взяли в 37-м, следом — маму. С отцом я больше не увиделся, а с мамой встретился в Тбилиси десять лет спустя. Я вспомнил об этой встрече в рассказе «Девушка моей мечты».

Почему я об этом говорю? Это одно из отчетливых впечатлений детства: почти каждое утро во дворе недосчитывались кого-то, многих выхватывали...

Их брали — и квартиры заселялись новыми людьми. И отдельных квартир скоро не стало, все опять стали равны...

Да, «где же почва для твоей любви»...
...Что мне сказать? Я только лишь пророс.
Еще далече до военных гроз.
Еще загадкой манит подворотня.
Еще я жизнь сверяю по двору
и не подозреваю, что умру,
как в том не сомневаюсь я сегодня.
Что мне сказать? Еще люблю свой двор,
его убогость, и его простор,
и аромат грошового обеда.
И льну душой к заветному Кремлю,
и усача кремлевского люблю,
и самого себя люблю за это...

Мы были типичные дети того времени — плохо информированные, наивные, жившие по официальным, я бы сказал, «парадным» законам общества. Мечтали бежать в Испанию, играли в Чапаева, в армию собирались идти в один танковый экипаж, боготворили заграничных коммунистов. Долгое время предметом вожделенных рассказов было то, как одного из нас на Красной площади чешский коммунист взял на руки. На счастливилика смотрели, как на... слов не подберу! Все в этом дворе было, все уживалось и страшно переплеталось. Пьянство, воровство, полупритоны и просто притоны, в 20-е годы — беспризорные в асфальтовых котлах и тут же рядом — восторги от всяких перелетов, челюскинцев, папанинцев... Уровень культуры был низким, дружба — возвышенной, не побоюсь этого слова — благородной. Был всеобщий

дворовый патриотизм. Всем жилось плохо, все нуждались, но некоторые, даже многие — за гранью. Помню семью Сочилиных: он слесарь, она уборщица, пятеро детей, моих товарищей, все жили в одной подвальной сырой комнатке... Ужасно грустно это было. Но оттого, быть может, так крепок был дух соседства. Все знали друг о друге, друг друга, и, если нужда была, допустим, посидеть с ребенком, — это всегда можно было решить, постучав в стену соседу. И особенно чувствовалось такое отношение друг к другу у нас, детей. Я однажды подарил свое новое пальто сыну прачки — правда, потом долго подвергался дома «гонениям»...

— Скажите, а вот то, что всех так волнует, — разобщение, отчуждение, неумение или забытая привычка услышать стук соседа в стену или даже самому постучать за помощью — это откуда, по-вашему, пошло?

— Вы знаете, некий ученый заинтересовался причиной большого количества разводов и выдвинул такую гипотезу как одну из причин: когда люди жили «дверь в дверь» — в коммунальных ли городских квартирах, в больших деревнях, — семья спланивалась в борьбе с соседями. «Борьба», конечно, слово неточное, но суть именно такова. Это удивительный парадокс. Я думаю, в нем есть резон...

Существовали какие-то обязательства, нормы, и люди старались их не преступать, держаться «в рамках» — такой был собирательный момент. Нет, случались и скандалы, все зависело от темперамента. Но люди искали простые, разумные, мудрые пути решения конфликтов... Вот висит в коридоре телефон. И в квартире 10-15 семей. Надо платить — как и за лампочку в уборной... А как платить — поровну? Какая-то старуха заявляет: «А я вообще не разговариваю!» И тогда старший по квартире вывешивает бумагу и карандаш на ниточке — и тут уже было дело твоей совести: ты поговорил по телефону — поставь против своей фамилии палочку. У кого больше палочек, тот больше платит... Это смешно, но разумно: что делать! Сейчас ведь даже таких путей к миру люди не находят.

И из квартир все это выплескивалось во двор. Совместно сажали деревья — они сейчас растут во дворе, выше крыши. Устраивали какие-то спортивные соревнования по бегу, прыжкам. И в то же время — воровали пищу на кухне ресторана, устраивали пиры тут же в подъездах, тайное становилось явным, попадало нам за это... Все было перемешано во дворе. Вечером с какими-то урками курили и играли в карты, тасили из ресторанной кухни здорового гуся, порой и вино, а наутро шли в школу, днем играли в Чапаева, громко произносили красивые революционные лозунги, потом опять был вечер... Я не знаю, если бы я в этом доме на Арбате жил взрослым человеком, не думаю, чтобы дом и двор играли бы какую-то роль. Это с детством связано: где играть — во дворе, кто лучшие в мире люди — те, кто рядом... Вот я рассказал вам про Алима, а у нас еще во дворе жил слесарь Паша, и у него была красивая молодая жена. Хотя я был мальчишкой, я понимал (или мне это передавалось от друзей), что она красавица. Такая изящная, стройная, сильная, насмешливая... Мы все на нее глаз клали, и она над нами иногда подтрунивала. Я позабыл, как ее зовут... Прошли годы. Я знал, что Паши нет в живых, говорили, что он погиб на войне. Лет пять назад я оказался вновь в своем дворе — финны снимали телефильм и попросили туда их привести. Мы начали съемку, я что-то им говорю и вдруг вижу: выходит из подъезда женщина, тучная, с толстыми большими ногами — и что-то такое знакомое в лице ее... Нюра! И я сразу вспоминаю ту молоденькую красавицу. Она меня не вспомнила, но мы все равно очень тепло с нею поговорили, долго вспоминали общее. У меня нет никакой идеализации прошлого, никакой И прошлой, старой Москвы, в частности. Но единственное, что у меня осталось из этого: город должен состоять из таких сообществ, как раньше. Двор — гениальное изобретение, и большая глупость, что сейчас дворов практически нет. Разве можно назвать двором полосу асфальта, которая приспособлена для рокеров, и не для общения? У нас были разные отношения ко двору и к улице, улица носила характер очень функциональный: на работу, в школу, в магазин, никакого праздного шатания. Улица не может и не должна заменять в сознании, в жизни ребенка уют родного двора.

Тут ведь с моим отношением к Арбату как улице еще одна важная вещь связана.

Арбат тогда, в 30-е годы, был прежде всего правительственной магистралью. Он проезжал по Арбату насквозь, пролетал из Кремля в Дорогомилово, на «ближнюю дачу», как я рассказал в стихах. И каждый подъезд, каждая подворотня забиты были охраной. Под особым контролем находились окна, выходящие не во двор, а как раз на Арбат. Я это запомнил, хотя тогда был маленький, и все это как-то в моем сознании преломлялось. Но сейчас я об этом вспоминаю с отвращением.

Я не понимаю прорывающейся сегодня на страницы газет, в письмах откровенной тоски по прошлому, по тем временам. Люди смешивают два совершенно разных явления. Я, как и каждый человек, с удовольствием вспоминаю свое детство, свою юность, вспоминаю с нежностью себя — маленького, слабого, беззаветно доверчивого. Но стоит ли с тем же чувством вспоминать времена — грязные, жестокие, когда лжи и показухи было много? Я почти ничего не соображал, но помню, как однажды меня очень неприятно поразила показуха тех времен. На Зубовской площади, в клубе пишевинов, был организован «Джаз веселых поварят». И двое ребят из нашего двора как-то туда попали, в этот «Джаз веселых поварят»...

— Одаренные, наверное, были?

— Какие одаренные! Там играли на пицалках, на гребешках с заправленными клочками папиросной бумаги... Им, видимо, понадобились «типажи» — вот они и взяли этих ребят. И вот, с одной стороны, двое ребят из очень бедных, голодных семей — и с другой стороны, эти маленькие советские повара, в белых колпачках, в красных галстуках, поют: «Эх, хорошо в стране советской жить! Эх, хорошо...». А после концерта приходят домой, где страшно пьют, матерятся... И я сижу в зале и вижу, что вот эти, с которыми я живу во дворе, сам с ними курю, хулиганю (правда, в меру), и я знаю, что у них творится дома, — вот они, эти самые, в красных галстуках... Мне тогда запомнился этот контраст, очень неприятное было ощущение...

— Но все это как-то вас подготовило к тем тяжелым, драматическим обстоятельствам, которые потом были в вашей жизни, — к аресту родителей, к войне, к учительству в деревне под Калугой? Ведь и на войне, и там, в деревне, вы общались с иными, чем вы, людьми, и не был ли ваш двор школой демократизма?

— Вы знаете, моя беда (а я думаю, всего поколения), что мы были очень романтично настроены. И война застала нас врасплох...

— То есть вы не были готовы ко всему этому — к жизни?

— Нет. Нет... Я был готов к чему — «Если завтра война, если завтра в поход», ура, готов ко всему, что угодно, пожалуйста!.. Пошел я на войну азартно. И через пять дней все это сошло. Закваска некрепкой оказалась. Увидел кровь, грязь, вшей, узнал, что такое недоедание, недосыпание... Стало гадко, страшно. Не было подготовки — никакой... Лозунгами все подменялось. Энтузиазм — хорошая вещь, если надо во дворе деревья сажать. А сажали-то не только деревья... То есть какая-то работа проводилась, парады физкультурников, маршировали спортивные люди, внедрялся культ мускулов, культ силы. А есть ведь еще и душа. Твоя личная жизнь, воля, право выбрать, как поступить...

И я не знаю, разумно ли в таком возрасте относиться к тем временам так, будто не минуло полвека. Увы, это говорит лишь о каком-то смещении, сломе в душе, об отсутствии опыта души, который все-таки должен накапливаться вместе с жизненным опытом. И сегодня, в наши времена, попросту опасно видеть теми же наивными, детскими, восторженными глазами Москву, Арбат и то, как

Он там сидит, изогнутый в дугу,
и глину разминает на кругу,
и проволочку тянет для основы.
Он лепит, обстоятелен и тих,
меня, надежды, сверстников моих,
Отечество... И мы на все готовы!

Я думаю сегодня, что готовность «всегда и на всё» налагает очень большую ответственность на людей. И непонимание того, что такая готовность должна быть все-таки не нормой, а редким исключением из правил, — это непонимание чревато психологией раба. И взрослому такая ломка дорогой ценой дается, а уж ребенку...

— А кто мог устоять?

— Ну, кто мог устоять... К примеру, мой товарищ Владик Ермаков, с которым я познакомился позже, после потери родителей. Что нас свело, я даже не понимаю, но, думаю, тут судьба распорядилась: мне нужен был сильный друг, человек умнее, мудрее меня. Владик всегда жил своей жизнью, у него были свои товарищи, свои книги, свой круг интересов, во двор он никогда не выходил, читал Хемингуэя, о котором я понятия не имел. Он просто презирал двор. И тогда же я стал как-то остывать ко двору. Хотя и совмещал эту мою большую дружбу с законами двора. Но тут тоже все было на роду написано. Незадолго до войны нам стало жить совсем туго — мне, брату и бабушке, и я подался в Тбилиси, к тетке. Потом началась война, и я ушел на фронт. И на Арбате вновь очутился пятнадцать лет спустя...

— И это была уже другая улица?

— Нет, это была все та же улица.

— Почему?

— Не знаю. Но это была такая же улица. Внешним обликом, духом своим, отношениями между людьми. Арбатца можно было угадать по произношению, по манере говорить. Какие-то типично арбатские интонации, словечки. У этой улицы был свой ритм. Был облик толпы — хотя толпой это не назовешь. Люди шли по своим делам, и не чувствовалось ни суеты, ни праздности. Были в этом потоке и приезжие, но они с их заботами не бросались в глаза, не вызывали раздражения, как теперь, когда в центре уже москвичи теряются в их толпе. Наверное, и в старой планировке были какие-то биологические законы, потому что Арбат оставался Арбатом до той поры, пока не прорубили проспект. Его прорубили — и Арбат сразу выдохся и закис...

— Булат Шалвович, понятно, что вопрос дерзкий — и все-таки: что вы думаете о сегодняшнем Арбате?

— Арбата больше нет.

Я неохотно приезжал на Арбат и в годы после разрушения приарбатских переулков, строительства проспекта. А в нынешнюю пору, после реализации проекта превращения Арбата в пешеходную зону, после всего этого декорирования, «фонарения», я вообще туда ни разу не приходил. Боюсь. Боюсь. Беда не в утрате фрагментов архитектуры, не в фальшивости раскрашенных в яркие цвета фасадов, традиции жизни на виду, в невольном контакте, вот какая беда.

Меня огорчают статьи о «Детях Арбата» Анатолия Рыбакова, в которых Саша Панкратов и другие герои обвиняются в отрыве от народа, от трагедии крестьянства, к примеру... Это глупость. Во-первых, Арбат — народная, демократичная улица. Рыбаков очень точно все это показал. Все персонажи — могу как старый арбатец поручиться — узнаваемы, типичны. Потом, арбатское население лишь на очень малую часть состояло из жителей привилегированных, вроде работников пищевого наркомата, о которых я упоминал, да и они, как видим, разделили горькую судьбу народа. Думаю, первопричина критики все та же: Рыбаков написал книгу о том, что принудительная готовность всех ко всему ни к чему доброму не ведет. И показал людей, которые и тогда оставались свободны, оставались сами собой. Наверное, критиков устроил бы не такой Сталин, каким показал его Рыбаков, а проезжающий на черной машине, с ветерком, сопровождаемый на всем пути через Арбат охраной, готовой стрелять в любого, кто высунет голову из окна... Это книга о трагических чертах моего поколения, о том, какой ценою оплачено позднее наше прозрение...

Что мне сказать? На все готов я был.
Мой страшный век меня почти добил.

Но речь не обо мне — она о сыне.
И этот век не менее жесток,
а между тем насмешлив мой сынок:
его не облапошишь на мякине.
Еще он, правда, тоже хил и слаб,
но он страдалец, а не гордый раб,
небезопасен и небезоружен...
А глина ведь не вечный матерьял,
и то, что я когда-то потерял,
он в воздухе арбатском обнаружил.

Истребление Арбата шло несколько десятилетий: исчезли вначале отдельные люди — так называемые щепки, летящие при рубке леса; потом вышел уникальный воздух Арбата (подобное происходило и в других районах Москвы, и в других городах); потом дошли руки до материальной оболочки, внешнего вида. Но любопытно — фасады перекрашены, а дворы, говорят, остались все те же. Может быть, я еще и поэтому боюсь сегодня прийти во двор дома № 43...

Один из авторов проекта мне сказал: а вот жители Бирюлева приезжают сюда побродить, отдохнуть — им нравится. Я ответил: вот и построили бы такую улицу в Бирюлеве. Ничего не хочу опять-таки сказать плохого о Бирюлеве (может, и стоило бы), не хочу приукрасить тот, довоенный, Арбат, хочу сказать одно: дом, двор, улица должны быть такими, чтобы хотелось прожить целый век, от рождения и до конца. Арбата нет — и больше не будет.

Грустнее, что нет былого соседского, «соборного» начала. Я вроде давно махнул рукой на то, что произошло. Но, мне кажется, мы скоро почувствуем потребность в соседстве. В желании вечером выйти во двор, посидеть под деревом, посаженным твоим отцом. Мы уже сегодня чувствуем это. Во что это выльется? Бог весть...

Арбатский эмигрант

Валерий БУРТ. На Арбате. № 1(5), апрель 1997. С. 1, 3.

Булат Окуджава не нуждается в представлении — его проза и стихи давно завоевали известность. Он давно пишет об Арбате, и не счесть замечательных строк, воспевающих эту улицу. Окуджава прожил на Арбате 17 лет, и все было за это время. Но главное: «И если вам, читатель торопливый, он не знаком, тот гордый, сиротливый, извилистый, короткий коридор от ресторана «Праги» до Смоляги и рай, замаскированный под двор, где все равны: и дети, и бродяги, спешите же... Все остальное — вздор». Это слова влюбленного человека. Поэтому первый вопрос тоже о любви.

— Булат Шалвович, если выразиться предельно лаконично, что для вас значит Арбат?
«Живописцы, окуните ваши кисти в суету дворов арбатских и зарю...»

— Для меня это та самая родина, о которой говорят. Место, где я рос, воспитывался. Где было много друзей, знакомых, родственников. Я никогда не утверждал: Арбат — самое лучшее место на земле, но для меня оно прекрасно.

Нынче многие, даже самые малозначительные эпизоды воспринимаются с примесью удивительно светлой грусти. Я жил в доме 43, где были шашлычная «Риони» и магазин «Электросбыт». Серый такой дом... Вы знаете, память даже больше возвращается к печальному — здесь в 1938 году арестовали мою маму, на 18 лет она исчезла из моей жизни. Между прочим, Арбат был главной улицей, по которой проезжал Сталин, и там в большом количестве дежурили «топтуны». Однажды арестовали моего друга и его сестру — мол, она готовила... покушение

на проезжающего по улице вождя. Девочка возражала: «Но мои окна выходят во двор». На ее слова никто не обратил внимания. И за этот абсурд ей пришлось жестоко расплачиваться.

— И все же, Булат Шалвович, вспомните о радостях: «На арбатском дворе и веселье, и смех»...

— Влюбился в девочку, вот вам радость. Украл как-то с приятелями из ресторана со стороны кухни жареного гуся, на чердаке пировали... Понимаете, я очень рано остался без родителей, на попечении бабушки, и «меня воспитывал арбатский двор». Выпивали, в двенадцать лет начал курить. Какие у меня были мечты? Должен вас разочаровать — отнюдь не возвышенные, поэтические, а, наоборот, очень приземленные... Мечтал стать таким, как Костя Ежик — уже взрослый парень, вор. Он ходил в тельняшке, сапоги в гармошку, этакий лихой чубчик. Вот такой идеал детства.

— Вы можете назвать свои лучшие строки об Арбате?

— Пожалуй, нет. Для меня большая честь, если кому-то что-то нравится. Но сам оценивать себя не могу и не хочу, поскольку человек я не тщеславный. Да и перечитываю себя очень редко. Понимаете, определить собственный уровень невероятно трудно... Конечно, я профессионал и писать буду до конца жизни. Хотя сознаю и то, что литературных открытий за мной не числится.

— Кстати, кем вы считаете себя в большей степени — прозаиком или поэтом?

— В большей степени я — литератор. Ибо во всех жанрах, в которых я работал, я выражаю себя. Просто делюсь впечатлениями об окружающем меня мире.

— Давайте возвратимся на Арбат сегодняшний. Вы часто там бываете?

— Нет. У меня есть строки: «Арбата больше нет, растаял, словно свеченька, весь вытек, словно реченька. Осталась только Сретенка, Сретенка, Сретенка, ты хоть не спеши, надо, чтобы что-нибудь осталось для души». Ушел колорит, неповторимый дух. Эта улица и теперь, наверное, по-своему хороша, но в ней нет ничего общего с тем Арбатом. Есть у меня и другие строки: «Во дворике этом мне тесно. И я из него ухожу...»

— Но, к счастью, вы остаетесь в литературе. Простите, но не так хорошо слышно нынче ваше творчество. Неужто «допеты все песни. И точка. И хватит, и хватит о том. Ну, может, какая-то строчка осталась еще за бортом?» Осталась?

— Смею надеяться. В конце прошлого года написал цикл стихов, опубликованных в последнем номере «Знамени». Есть и проза — в «Новом мире» напечатаны «Автобиографические анекдоты». Сейчас я их продолжаю.

— Прекрасно, что вас не оставляет надежда «увидеть в усмешке фортуны улыбку надежды своей». Если же снова оглянуться назад, то от чего вы некогда приходили в восторг? И знакомо ли вам ощущение счастья?

— Вы знаете, счастье недостижимо. Ощущение это быстро проходит. Вот я писал несколько лет роман, наконец я его закончил, стал читать. Меня охватило удивительное состояние. Восторг, опьянение...

— Какой это был роман?

— Неважно. Но спустя два месяца, снова прочитав его, я увидел, что он несовершенен. Так повторялось много раз. Вот почему это чувство мимолетное, постоянно ускользающее. Как у Блока: «Что счастье: короткий миг и тесный».

— Писатели пишут, но читают ли их? Кажется, незаметно мы из страны читающей превратились в страну смотрящую — денно и ночью не слишком умный телящик, набитый триллерами, клипами, рекламой...

— Я не оракул, могу лишь высказать надежду. Все это не слишком приятно, но я могу назвать издательства, выпускающие только умную, серьезную литературу, магазины, торгующие ей же. Да и людей, ищущих ее и читающих, тоже немало. Значит, светлый ручеек не иссякает. Вы упомянули телевидение. Вот оно тревожит по-настоящему. Преобладает практически на всех программах ресторанный уровень. Кстати, против него я ничего не имею. Но когда он становится главным в искусстве, это ужасно. И это выдается за идеал, совершенство!

— Когда-то вы написали такие строки: «Пока земля еще вертится, пока еще ярок свет, Господи, дай же ты каждому, чего у него нет...» А что бы вы сами попросили у Всевышнего, если представилась такая возможность?

— Я попросил бы его привить нам всем нужные черты для скорого выздоровливания от напастей и бед. Спасти нас всех от невзгод жизни.

— «...и не забудь про меня»?

— Побольше здоровья. Понимаю, возраст есть возраст, но в последний год я резко заболел... В общем, здоровья, хотя бы в пределах моих немалых уже лет. Недавно я бросил курить, мне стало трудно работать. Представляете, 60 лет дымил, и рефлекс очень мощный. Пишу и нервничаю — сигареты не хватает.

— Часто ли для вас играет «надежды маленький оркестрик под управлением любви»?

— Благодаря ему я живу и нахожу возможные точки соприкосновения с будущим.

— Мы начали беседу Арбатом. Наверное, им же следует завершить интервью. «Я выселен с Арбата, арбатский эмигрант». Эти строки актуальны для вас и сегодня?

— Да, и осталась легкая грусть. Я часто вижу сны о детстве, друзьях с моей родной улицы. Арбат навсегда в моей душе.

...Уже в метро я раскрыл томик Окуджавы и натолкнулся на строки: «Куда-то все спешит надменная столица, с которою давно мы перешли на «вы»... Все меньше мест в Москве, где помнят наши лица, все больше мест в Москве, где и без нас правы». Вот тут-то, Булат Шалвович, вы, извините, не правы. И, надо полагать, великое множество читателей думают так же.